

Дикоросль*

Работа и я: техники души

Придумала средство борьбы с собственной склонностью отвлекаться: поставить эту склонность себе на службу. Я уж и оправдание ей придумала, не в силах избавиться (как только начнёшь делать что-то одно, требующее внимания — моментально начинаешь и вертеться внутренне во все стороны: сама необходимость узости и концентрации автоматически вызывает потребность в разнообразии и разбросанности. То есть достаточно одной только постановки задачи, чтобы вызвать энергичное внутреннее сопротивление). Оправдала я её тем, что разбросанность-де способствует расширению ассоциативного поля и вследствие того — более объёмному, а значит, предположительно, и более нетривиальному — взгляду на предмет работы. Но чтобы эта склонность не разваливала дела, пришлось изобрести вот что: делать два дела одновременно (в моём случае речь практически всегда идёт о писании и/или редактировании двух разных текстов; и лучше поэтому, чтобы это были разнотипные действия: один текст пишем, другой — редактируем). Как только надоедает одно дело и хочется от него отвлечься — переключаемся на другое.

(Внутренняя формулировка при этом такая: всякой работе нужен противовес — для устойчивости.)

И когда такой режим работы как следует изматывает — вот тогда начинаешь фиксироваться на чём-то одном с удовольствием и отдохновением. Предположительно, правда. До такой измотанности я ещё не доработалась.

(Не говоря уж о том, что человек, работая, отвлекается по «внутренне-эстетическим» причинам: для объёмности чувства жизни, которое заведомо — хотя бы уже чисто количественно — более полноценно, чем линейное и плоское.)

* Данная публикация — продолжение «Дикоросли», опубликованной в *Mixtura verborum* 2015 (см.: *Mixtura verborum* 2015: образы настоящего. Самара : Самар. гуманитар. акад., 2016. С. 142—168).

О матрицах реальности

Молодость (я долго думала, что только детство; но всё больше чувствуется, что и молодость вместе с ним тоже — до 25-ти лет точно. С тем, что после, я пока не вполне разобралась — наверно, оно ещё не вполне от меня отодвинулось) нужна затем, чтобы сформировать в нас «базовые», исходные матрицы реальности, на которые мы потом будем накладывать — упорядочивая его — весь последующий опыт. Они, так сказать, — условие его внятности, членораздельности. Причём, кажется, это — матрицы скорее чувственные, образные, пластические, чем смысловые. Природа их досмысловая: они задают направление и конфигурацию внутренних движений. Определяют их «пластику». Скажем, если брать примеры из персонального опыта — хотя, скорее всего, это никому, кроме меня, не будет понятно, но никакие другие примеры тут, пожалуй, и не возможны: угол Ленинского проспекта и улицы Академика Петровского в апреле 1987-го, солнце ясного, жёсткого, пыльного дня, моё движение в сторону метро «Октябрьская» — всё это вместе, в нерасцепимом комке — для меня очевидная матрица одиночества и некоторой наивно-оптимистически настроенной, не без элементов поверхностного авантюризма, самостоятельности. Любой внутренний шаг в сторону такой позиции неизбежно будет воспроизводить изгибы поворота с Петровского на Ленинский и поёживаться на апрельском ветру.

А вот и признак того, что некоторый период жизни (в данном случае — та же молодость) — кончился: мы вдруг начинаем видеть его в целом. До каких-то пор — пока мы внутри — он рассыпается на детали, которые, кажется, могут быть — опять же пока мы внутри — скомпонованы различным образом. В тот момент, когда все эти детали закрепляются на своих местах, можно считать, что этот период жизни — кончился. Превратился в «матрицу», если угодно. И теперь пребудет с нами — в готовом виде — всегда.

Оправдание необязательного

Обязательное замыкает нас каждого в своём коконе, необязательное же наводит мосты между разными островками бытия и выращивает между ними неожиданные и неочевидные связи. Необязательное — это работа Целого.

И оправдание оправдания

Меня очень издавна (со школьных времён — точно) сопровождает чувство неудачности, неправильности моей жизни и того, как я ей распорядилась и распоряжаюсь. Я чувствую свою жизнь — вместе с самой собой — как сыроватый материал, который нуждается ещё в некотором преобразующем, осмысливающем усилии, во встраивании его в некоторые достойные задачи. Это я про себя и называю «оправданием»: выявление, а то и выращивание смысла того, в чём изначально мне смысла не чувствуется или чувствуется его недостаточно.

Поняла, наконец, собственное пристрастие к «оправданию» как типу смыслового действия: оправдание чего бы то ни было — это увязывание его в единую смысловую структуру с неизменным, кажется, выявлением в ней «доминанты», центрального стержня, который всё держит и определяет. Прослеживание связей всех элементов структуры с этим центральным стержнем — и выявление тем самым их обоснованности, укоренённости, необходимости и есть оправдание.

Ещё о матрицах реальности

(скорее уж, о матрицах опыта, пожалуй)

Раздумывая над этими матрицами, обозвала я их *устойчивой совокупностью стимулов с закреплённым значением*. Могу перечислить, что входит (среди многого прочего; туда много чего входит) в состав, например, моей персональной матрицы молодости — молодые внутренние движения послушно воспроизводятся, подталкиваемые каким-нибудь из этих стимулов и особенно — если несколькими сразу: туда, несомненно входят центральноевропейские города (Прага и Будапешт — все целиком, но каждый из них со своими значениями; но и вообще все города, видимые где-то, скажем, на фотографиях и хоть чем-то на них похожие — самим своим прикосновением к моему восприятию они запускают во мне целую программу щенячьей незащищённости, острой — ранящей! — свежести раннего бытия, потерянности — и почти бессмысленной, почти физиологической жажды роста-во-все-стороны, тем более отчаянной, что почти совершенно слепой. Зрячесть стала прорезаться позже, и этому стали со-

ответствовать совсем другие звуки). Туда явно входит и чешский язык — который я воспринимаю как язык шершаво-отстраняюще-прохладный, с ментоловым привкусом (на этом языке для меня не может, кажется, быть ни рассуждений о глубоком и серьёзном, ни признаний в любви — просто потому, что их на нём и не случилось; но на него неизменно отзываются смыслы и обертона подростковой колючей проничности, угловатого отчуждения — и такого одиночества, — мелкого, неинтересного в общем одиночества, которого на других языках не бывало), и запах пражского метро, совершенно отличный (и по смыслам тоже!) от запахов метро московского.

О внутренних собеседниках

Собеседник, хотя бы и воображаемый, нужен нам для создания внутренней интенсивности; для направленности речи и сопутствующего ей отбора элементов, из которых эта речь создаётся — для противостояния хаосу и аморфности. Собеседник — независимо от того, отвечает он нам что-нибудь или нет (и даже, наверное, от того, слышит ли он нас — достаточно, чтобы мы к нему обращались) — своим присутствием тематизирует нас — направляет вдоль некоторых тем и отбирает «под них» смысловой (да и несмысловой, пожалуй что) материал; в некотором смысле — выволакивает из небытия, из потенциальности. Он нужен, чтобы *быть*.

О написании книг

Смешно, но только теперь, кажется, додумалась, зачем это могло бы быть «надо» — мне, если бы взялась. (Вряд ли возьмусь — «внутренняя эстетика» не та, не говоря уже о не-владении в достаточном объёме и адекватном жанре ни одной из подходящих для такого действия тем [нет, вру. По меньшей мере две темы у меня есть. Но достаточного владения ими нет и вряд ли случится], — просто поняла, зачем это может быть надо.) Довольно независимо от того, что книг написано и издано в избытке, и груды их пылятся, гниют и идут под нож, так и не будучи ни прочитаны, ни даже взяты в руки, — сам процесс написания чего-то такого, большого, единого, с чёткой внутренней архитектурой собирает воедино разрозненный душевный материал, систематизирует

опыт и, пожалуй что, даже преобразует его в некоторое новое качество. В общем, это, прежде всего, вопрос «самоделания», внутренней «ойкономии» — такой организации своего душевного и смыслового хозяйства, чтобы в некотором смысле «ничего не пропадало». Это очень соблазнительно само по себе.

Вообще, когда пишешь что-нибудь более-менее собственное да при том оно у тебя ещё и получается — в ходе этого процесса хоть немного да рождаешься заново.

Причём, странным образом, это практически никак (ну или почти-почти никак; мне-то кажется, что просто никак, но могу заблуждаться) не связано с тем, что именно пишешь. Здесь главное — в самом процессе, в порождаемой им внутренней динамике.

О символическом наследстве

Озверев от работы и от вербального — в тоске по невербальности и пространствам — врылась в любимом ЖЖ-сообществе «russiantowns» в фотографии русского Севера: Тотма, Кологрив, Шарья, Николо-Полома.

Сама себе удивляюсь, насколько это всё моё, «родное», насколько в это хочется вживаться и всматриваться. Не потому, что «красиво», — совсем не из нужного лексикона слово, какое там красиво: грязь, разруха, бедность, медленность, тишина, вечная осень, снулая пасмурность, сумерки, даже когда весна и солнце, — какое-то горькое и знобкое сиротство в бытии, жизнь в полудрёме, почти без сновидений даже. И тем не менее во всём этом есть некое болезненно-точное попадание: всё, что сказано косным (да притом тончайшим и древним) языком этих пространств — сказано и про меня. Мне должно быть за это стыдно, больно и трудно. Я должна этим перемучиться. Но у моего умиротворения и спокойствия — тоже это лицо. Во всём этом есть просто что-то очень универсальное для меня. Мнится, основа бытия — именно моего — она какая-то вот такая. Осыпающиеся листья этой вечной осени падают прямо мне на голову.

Никакого генетического отношения ко мне русский Север не имеет. Здесь дело, должно быть, в культурном коде, в символическом наследстве, которое обязывает ничуть не меньше, чем наследство, так сказать, предметное и кровное (да и те, как подумаешь, символичны ничуть не меньше).

К оправданиям

Кому как, а мне моя хроническая виноватость, помимо (и уж не прежде ли?) всего прочего, обостряет внимание к миру, перед которым я виновата: в порядке искупления этой вины. Этим вниманием, напряжённой вытянутостью по направлению к миру (к определённым его участкам) я как бы отчасти отрабатываю, — заведомо-неполно компенсирую то, что я ему недодала.

Вообще, виноватость в моём случае — повод и стимул для повышенного приложения усилий. (В качестве универсального средства рекомендовать не рискну: здесь основное дело в персональной сензитивности.)

* * *

Заодно в связи с этим придумалось мне и оправдание долга, его принуждающего воздействия на наше кустистое и пышное смыслопорождающее и практикообразующее естество. То есть того, почему мне кажется более осмысленным и конструктивным делать что бы то ни было именно в рамках работы (то есть — деятельности, связанной с внешними обязательствами — и с тем, что им неизбежно сопутствует: напряжением, ограничениями, чувством тревоги и вины), а не вольного «хобби». Потому, что именно работа с её внешним принуждением оказывает на нас (ну, на меня, да) принудительно-собирающее воздействие, не даёт — даже когда нам очень-очень хочется — разлетаться, разбрасываться, попусту, неплодотворно транжирить энергию. Работа тем и хороша, что её принуждающая (и оформляющая, скрепляющая — не дающая пропасть) сила сильнее — то есть значительнее — наших персональных и сиюминутных желаний.

Вообще, в том, что даётся без напряжений, ограничения, чувства тревоги и вины, в том, что не идёт в той или иной мере поперёк естества, не мучает хоть сколько-то, не отрицает меня в той или иной степени, не требует самопреодоления — мне так и мнится что-то неподлинное, легковесное. Это один из моих базовых предрассудков, если угодно. Зато наличие всех этих компонентов в составе чего бы то ни было — весомый аргумент в его пользу. Конечно, этот компонент не должен быть слишком большим, но он непременно должен присутствовать, — так сопротивление материала и земное

тяготение — верные свидетельства того, что мы имеем дело с чем-то реальным, а не с воздушными замками.

К персональным суевериям

Страшно боюсь, когда что-то начинает получаться: это мнится верным признаком того, что что-нибудь — и не факт, что связанное именно с тем, что получается — испортится в самое ближайшее время. Тревожиться начинаю прямо автоматически. В этом смысле состояние «медленно и неправильно», состояние текущего дряблого и дребезжащего недовольства собой и собственной жизнью — мнится защищающим: в нём всё ровно и мелко неправильно, без крупных катастроф. Мелкими неудачами и недовольствами от катастроф как бы откупаешься.

Вообще, честно сказать, боюсь радоваться (понятно, что это значительная степень внутренней несвободы, но, как говорил ослик Иа-Иа, — «констатирую факт»): мнится, будто радость — поверхностна, будто таким образом я окажусь слепой к каким-то аспектам происходящего, чего-то не замечу, — а оно мне, как водится, за это и отомстит. В этом смысле «нормально» состояние некоторой постоянной внутренней встревоженности, настороженности (повторяю, это не позиция, это скорее исходное чувство, с которым можно, как со всякой данностью, что-то делать).

(Во-первых, я не жалуясь, а «констатирую факт», во-вторых, я не чувствую такой способ восприятия мира ни тушиковым, ни ущербным. Это разновидность душевного зренья, совершенно полноценная в своём роде, «забирающая» мир и жизнь с тех сторон, с каких, высоковероятно, предпочитает их не рассматривать бодрый конструктивный оптимизм. Мы, меланхолики, посланы в мир для противовеса оптимистически-конструктивным точкам зренья. А то эти оптимисты без нас тут, пожалуй, наконструируют! Они уж и так...)

И о счастье

И при всём при этом, в сотый, в тысячный раз повторяю себе, повторяю, пока не усвою: надо уметь и надо отваживаться быть счастливой. Счастье — одно из важнейших задач человека на земле, может быть, оно-то — и есть единственная, главная задача, а все остальные задачи — его,

так сказать, спецификации. Это вот почему и вот при каком понимании счастья: оно — благодарная полнота жизни. Интенсивно-благодарная, внимательная и постоянная, глубокогорящая. Такое, в свете которого каждая деталь имеет ценность — именно сама по себе, светится изнутри этой ценностью — и одновременно, тем же самым связана со всеми деталями в органичную цельность. Все прочие исполнения прочих задач (да, иной раз и самоуничтожение — это совсем-совсем в пределе — но это банально) должны бы быть проживанием этой благодарности и средством её, рискну сказать, добиться. Несчастливый малодушен. Счастье требует большой, большой внутренней свободы и силы — способной, среди прочего, отстранять от нас то, что нас от этого счастья-полноты уводит или удерживает. Это в своём роде бросание себя в мир как-в-омут-головой, фундаментом чего может быть только очень большое и глубокое доверие. Счастье — это жизнь в полный рост, при полном отдаении себе отчёта во всём тяжёлом и страшном, что есть в жизни. И, конечно, отсутствие страха — но какое-то очень особенное, с полным признанием того, что страшное — страшно. Может быть, и слово «счастье» не очень удачное — очень уж заболтано и тянет за собой чересчур много не идущих к делу ассоциаций, — но более подходящего сейчас не нахожу, вот и принимаю это — именно за то, что в нём есть, более или менее осознаваемый, смысловой компонент «полноты жизни».

Отработать жизнь, да; но отработать её не унылым и скрипучим «потом и тоской», а радостно, пытаясь стать вровень (при всём осознании невозможности этого) огромному дару мира.

И о чувстве вины

Вообще же, однако, я думаю, что чувство собственной вины — средство настолько сильнодействующее, что его следовало бы применять в гомеопатических дозах.

Более того, будучи передозированным, оно просто перестаёт действовать. Оно «нормализуется». Попросту привыкаешь с ним жить как с эмоциональным фоном, который не только не мешает, но и становится необходимым, как и было сказано, для полноценного существования. Однако в таком случае оно и не выталкивает из вины, из вызвавшего её

ложного положения — то есть не выполняет своего прямого, изначального и, по большому счёту, единственного назначения.

* * *

С другой стороны, подумалось: может быть, только стыд и вина — мои единственные возможности почувствовать — ну если и не прямо Бога, то, во всяком случае, Безусловное. (Как ни странно, даже страх — не в такой степени, по той, наверно, простой причине, что страх объединяет нас с животными.) Стыд и вина — единственно возможные формы Безусловного во мне, формы соприкосновения с безусловным.

Едва ли не всякое чувство значит больше того, что оно значит «впрямую», но уж эти — особенно.

Подумалось ещё: если человеку бывает стыдно и он чувствует себя виноватым — он ещё не вполне атеист, что бы сам про себя ни думал. Этим Безусловное окликает нас, это одни из самых властных Его голосов.

Стыд и вина — единственный болевой глаз почти-слепца, позволяющий (скорее, заставляющий) хоть как-то видеть Безусловное.

Догонять

...мир должен дразнить да в руки не даваться, чтобы мы тянулись за ним. О, не затем непременно, чтобы мы «росли», с этой иллюзией я тоже уже рассталась — то есть с той, что человек (вот реальный, эмпирический, а не «человек в принципе») непременно на всех своих участках способен «расти», то есть не просто изменяться, но ещё и увеличиваться. О нет, у всех у нас есть пределы, в которые мы скорее рано, чем поздно, упрёмся; но дело не в этом. Дело в том, что недосыгаемость и ускользание мира сообщает нам внутреннюю динамику и неожиданность внутренних событий.

Пропросту говоря, реальность затем и убегает от нас, чтобы мы её догоняли.

К оправданиям повседневности

...ведь на самом деле роль *дороги* — смиряющей и погружающей нас в себя, когда не можешь изменить маршрут, когда поглядываешь на меняющиеся пейзажи за окном, покачиваясь в себе, как в вагоне, — прекрасно выполняет так называемая повседневность — как устойчивая совокупность

повторяющихся и, в общем-то, самовоспроизводящихся элементов, именуемая в просторечии ещё и «рутиной». (И это *оправдание* её, помимо всего прочего, да.)

Дома и Бездомья: Прояснение категорий

Дом и Бездомье как два экзистенциальных состояния необходимы друг другу и не могут быть друг без друга восприняты. Смысл Дома — успокоение. Дом — точка, стягивание, центростремительность; Бездомье — пространства, растеривание, центробежность, хаотичность.

Разумеется, при этом совершенно не важно, где именно каждая из этих структур локализуется — каждая способна локализоваться абсолютно где угодно и, как правило, непременно, при любых условиях где-нибудь да локализуется. Структуры эти настолько, мнится, универсальны, что хочется их отнести к числу антропологических констант. Туда и отнесём.

Нюктофилия

Творец миров структурировал сутки и распределил по ним свет чрезвычайно мудро. День для того, чтобы жить взахлёб и во все стороны, вечер с ночью, когда жизнь отступает и свёртывается, для того, чтобы работать, то есть думать о прожитом и писать об этом. День — для набирания сырья, вечер и ночь — для его переработки. (Поэтому работать днём — несомненно значит упускать время: использовать его не по назначению. Ночью столько живого, дышащего, чувственного сырья не наберёшь ни за что! Ночь — время умозрительное. Днём надо шататься, впутываться в ситуации и выпутываться из них... — пихать, пихать себе жизнь во все карманы, сколько влезет, чем больше, тем лучше — потом разберёмся, для чего. Днём, чтобы не терять времени, надо его именно что вовсю и самым безжалостным образом транжирить. Скупость, сберегание каждой крупинки набранного и дрожь над ней наступят ночью.) А вот утром можно и поспать.

Не говоря уж о том, что самое прекрасное в наступлении вечера и темноты — то почти телесно ощущаемое движение, которым жизнь, при свете разлитая вовне — перемещается внутрь и концентрируется там вся, — огромная и самодостаточная. С простым астрономическим наступлением ночи человек стремительно вырастает.

Да и вообще, человек определённого психосоматического типа днём, сколько бы ни бодрствовал, как бы ни был активен – всё равно в некотором роде спит, его внутренние веки смежены. И только с наступлением темноты просыпается, открывается: превращается в один сплошной, большой и распахнутый, глаз.

О (трудовой) этике избытка

Пожалуй, только теперь начинаю приходить к пониманию того, что в работу не следует уходить целиком и без остатка. Всю молодость меня промучило чувство как раз обратное: стыд за то, что не ухожу без остатка, что не истрачиваю себя в делаемом совсем. То есть, помимо (очевидных – и, разумеется, отнюдь не всегда выполняемых, но сейчас не об этом) требований качества – у меня было ещё жёсткое, не лишённое утопичности, но оттого не менее настоятельное требование количества: в работу, согласно этому требованию, следовало вкладывать всё живое – всё живое тогда только и получало смысл, когда приобретало хоть какое-то отношение к работе. Поэтому, разумеется, в качестве полноценной работы воспринималась и принималась только такая, которая требует личного включения и максимальной соотнесённости с личными смыслами (именно поэтому удрала я в конце концов, при первой возможности, из судебной экспертизы, которой посвятила семь нетривиальных лет и которой мне, вне всякого сомнения, есть за что быть очень благодарной: сколько бы она ни требовала напряжения, усилий, дисциплины, внимания – всё равно слишком большие пласты личности она оставляла неустребованной).

Вдруг сообразила, что двигало да и продолжает двигать мной при делании собственной биографии, во всяком случае в аспекте профессиональных занятий. Нужно было (и остаётся, собственно) не только то, чтобы каждое дело зачерпывало как можно больше слоёв моей драгоценной личности (чтобы, значит, ничто по возможности даром не пропадало – своеобразная разновидность скупердйства, скопидомства). Мне было и остаётся важным ещё и то, чтобы все мои занятия укладывались в некоторый связный сюжет, крепились бы вокруг некоторого общего стержня. И то, и другое запросто может быть неявным, главное, чтобы они чувствовались –

ну и хотя бы теоретически могли бы быть однажды выявлены. Это, прежде всего, а пожалуй, что и исключительно, вопрос внутренней эстетики.

Так вот, теперь — именно тогда, когда я занимаюсь работой, востребующей изрядное количество душевных пластов и надеюсь заниматься ей и дальше — мне становится наконец ясным, что работа ни за что не должна выедать человека без остатка, до черноты, до камней (то, чего так страстно хотелось в молодости!). В интересах этой же самой работы (о других интересах мы сейчас просто не говорим, хотя бы потому, что они гораздо очевиднее) — очень важно, чтобы в жизни всегда оставался большой, сочный и нерационализируемый, внерабочий избыток, не лезущий ни в какие рамки. Чем больше его будет, тем глубже будут у работы корни и тем жирнее — питающая её почва. Тем больше у неё (и, стало быть, у меня, которая ею занимается — всё-таки не мыслить себя производной от работы пока не получается — хотя интересно будет научиться и этому) окажется надежд на нетривиальность и рост.

Из заметок о навязчивом

Всякое дело ценно, помимо своего прямого назначения, ещё и теми побочными непредвиденными смысловыми отроутками, которые способно породить; расширением периферии взгляда, области бокового зрения. И биографическую, и даже, если угодно, культурную ценность всякого дела я бы измеряла количеством таких отроутков. «Идеальное» дело выглядит, в свете этого, как эдакий «пучок» смысловых отроутков, расходящихся из него во все стороны.

* * *

Всякая работа — это *малая демиургия*: образование порядка из пред-порядкового (не скажу, что из хаотичного — всё-таки порядковые структуры есть и там) материала. Это простейший опыт порождения порядка.

* * *

Совсем коротко: любая работа — это повод быть.

На естественно напрашивающийся вопрос: а что, тебе нужен повод, чтобы быть? — отвечу: конечно, нужен — человек ведь не всегда есть в полной мере, даже — очень редко в

полной мере, этим он и отличается от прочих тварей. Работа выводит нас из потенциальности в актуальность.

О всеинструментальности

Я вообще подозреваю, что работа (особенно, если она ещё и умственная; хотя к физической это тоже относится, но мы с нею знакомы не так основательно) существует — или может быть использована — для воспитания ума, для шлифовки внимания, вообще, для культивирования в себе тех или иных сторон и способностей. Честное слово, всякая. Даже какое-нибудь тупое перекладывание предметов с места на место.

Но если вдуматься, это же относится ко всему вообще: ко всему, чем приходится заниматься, ко всему, что приходится претерпевать. Всё способно быть инструментом для самоформирования, самоуточнения, самошлифовки.

К персональной антропологии

Вот какая ещё есть примета смены периодов жизни: по смене доминирующего внутреннего собеседника.

Об узнавании своего

Своё, точнее, *адресованное к проживанию*, узнаётся не головой и даже не «интуицией» — оно узнаётся почти-телесным внутренним движением, чётко ощутимым особым туповатым уколом в сердце: откуда-то изнутри-и-снизу, — вверх наискосок. И этот укол происходит прежде, чем успеваешь что бы то ни было сообразить.

* * *

А ещё «своё» (разумею всяческие смысловые образования; от личностей и текстов до, скажем, городов) опознаётся по признаку неисчерпаемости, которую мы в этом для себя чувствуем. В том, что для нас «чужое», мы с высокой вероятностью начинаем довольно скоро биться о стенки: не потому, чтобы там не было неисчерпаемости и смыслового потенциала, но потому, что не всякий во всяком их видит (кроме разве что, может быть, совсем уж универсальных и внутренних гибких личностей, о которых, увы, не имею что сказать, затем, что к ним не принадлежу).

О механизмах «своего»

О том, каковы могут быть, по моему предположению, порождающие механизмы чувства «своего», которое нам — необъяснимым, как водится, и довербальным образом — случается испытывать в связи с некоторыми людьми, — подумалось мне вот что.

Природа такого совпадения для меня, конечно, таинственна, но некоторые простые предположения есть. Думается, такие вещи возникают на пересечении, схождении в одной точке нескольких «причинных потоков»: тут должно быть совпадение — скорее «согласованность» — и темпераментов обоих участников ситуации (как «величины» психосоматической; то есть я очень верю в то, что тут есть и какой-то телесный компонент, независимо от половой принадлежности участников и их сексуальной ориентации, потому что, слава Богу, далеко не всё телесное — в том числе очень властное — сексуально), и социокультурного опыта, причём, может быть, даже очень локального. Весьма вероятно, что каким-то своим корневым отростком чувство «своего» восходит к первоначальному детскому опыту, очень раннему, в ходе приобретения которого что-то (хоть особенности интонации или, допустим, запах) было нами воспринято как неотъемлемая часть «своего», «защищающего», «радостного», «нам адресованного». Впрочем, я готова допустить и ещё какие-то источники; тут надо думать.

К числу механизмов, образующих чувство «своего», должно принадлежать ещё соответствие — ну или чувство соответствия, пусть иллюзорное, в данном случае это неважно — человека или явления некоторым нашим потребностям: базовым ли, стадийным ли — относящимся к некоторому этапу личного становления — или попросту даже ситуативным, сиюминутным. Скажем, если нам сейчас не хватает чувства защищённости, с высокой вероятностью «своим» почувствуется тот, о ком покажется, что он способен нам это чувство дать — мы просто окажемся к такому человеку более восприимчивы. Таким образом, грубо говоря, чувство «своего» (или ещё, в моей персональной терминологии, «адресованности») даёт то, что обостряет в нас восприимчивость к определённому человеку или явлению.

О смыслах письма

(то есть писания как процесса)

Пришло в голову, что письмо — это продолжение чтения «другими средствами», притом продолжение усиленное: не затем (в первую очередь) стоит писать, чтобы сообщить что-то городу и миру, особенно при том, что понаписано уже слишком много всего, но затем, чтобы лучше усвоить читаемое (в общем-то и проживаемое; но у меня, библиофага, есть стойкое чувство, что проживание мира и есть его прочитывание), чтобы собрать его в себе в цельность, нащупать в себе центр, вокруг которого оно может быть структурировано и пронизано общим смыслом. Самое важное тут то, что о собственном прочитанном — и из него — в наших писаниях при этом может не быть решительно ни единого слова: оно присутствует в нас при этом неявно, определяя темы и угол зрения на них.

В общем, конечно же, типичная *аутопластика* (изменение себя) и, в конечном счёте, старый добрый *аутопойесис* (самodelание, изготовление себя). Нечто подобное я уже относил к писанию книг — но, думаю, это относится и вообще ко всякому писанию, просто в случае книг «структурная принудительность» сильнее.

А всякие культурные и, страшно подумать, общезначимые смыслы — это побочный продукт.

Но сложное понятней им

Подумалось о том, что если обычно людям приходится учить себя сложности, двигаясь в развитии восприятия от простого к сложному, то мне приходится проделывать с собой обратную операцию: учить себя простому, настраивать на него внутреннюю оптику. При этом сообразилось, в чём отличие — в таком контексте — «простого» от «сложного»: взгляд, воспринимающий «простое», настроен, прежде всего, на крупные цельности, на объединяющие их «генеральные» черты — без избыточного отвлечения на детали; «сложноориентированный» же взгляд воспринимает явление в его дроблении на мелкие аспекты. То есть это — вопрос восприимчивости к целому и крупному.

Из полуприснившегося: о смыслообразовании

Утром полуприснилось, полуподумалось: «В сущности, всё, чем мы здесь [имелось в виду — в жизни] занимаемся — это плетение смысловых линий». В полусне это было очень ясно: существование человека само по себе — смысловая работа, установление, образование и проработка связей и соотношений между более-менее заданными элементами; всё, что мы находим, приходя в мир — это материал для смыслообразования. В этом отношении, подумалось тогда же, нет «первичного» и «вторичного» смыслового продукта: в любом случае происходит перераспределение связей, в любом случае есть шанс переустановить их некоторым неожиданным и плодотворным образом. Почему-то воспринялось это как очень утешающее.

О ценностях

Думала и о том, что главный (до, иной раз, единственности) орган удовольствия почти любого рода — голова со вложенными в неё представлениями. По крайней мере, у людей некоторого типа, к которому явно принадлежу: никакое удовольствие для меня не может быть достаточно полным, если не укладывается в некую смысловую программу. Хотя бы и сформулированную задним числом — главное, чтобы была. Чтобы за всяким действием просвечивал так или иначе понимаемый Большой Проект.

Но ведь никогда, на самом-то деле, не были для меня интеллектуальные ценности ни приоритетны, ни тем более исключительны. Хотя на каждом шагу много лет именно так и казалось, в том числе и мне самой. Они и сейчас не таковы, хотя и по сию минуту так кажется. А ценней всего для меня всегда была подробная, сочная, крупная и яркая жизнь — да ещё такая, в которой подробность и яркость сочетались бы с цельностью. Витальные, витальные ценности были всегда для меня первейшими и главными. Просто волею судеб, которую (-ые) можно обсуждать, а можно и не обсуждать, — в конце концов это всего лишь биографические частности, — именно «умственное», даже умозрительное стало для меня (ну или показалось — какая разница?) самым адекватным средством к тому, чтобы достичь витальной интенсивности, ощутить и воплотить витальную силу бытия. Путём к этой силе бытия неминуемо окольным, который никогда не переставал чувство-

ваться как окольный, даже когда головой понимался не так. Скорее всего, просто потому, что все остальные средства не очень давались. Да и по сей день не очень даются. Но интенсивность всё равно нужна.

* * *

При всём при этом жизнь для меня всегда была и остаётся тогда только по-настоящему интенсивной, тогда только есть в ней для меня настоящая витальность и действительно крупная, сочная чувственность — когда она интеллектуальна и пронизана рефлексией. Без рефлексии, без умственного конструирования, выстраивания контекстов, подтекстов и надтекстов — никуда, они — важнейший интенсификатор. Да, средство — но из первостепенных и едва ли не самое первостепенное. Без этого, как без воздуха — в любой самой яркой чувственности — задохнёшься. Этого должно быть много.

(Поэтому мне трудно, попросту — «никак» с людьми, в которых интеллектуальных ну не то чтобы вовсе нет — наверно, в каждом сколько-то да есть — но в которых это не оказывается на одном из первых мест. Я не нахожу, за что в них зацепиться для выстраивания контакта, даже когда сто раз понимаю, что они хорошие люди. И, напротив, с людьми, в которых это — особенно ежели в интонациях, сопоставимых с моими — есть, — очень осмысленно бывает даже заниматься какой-нибудь фигнёй, далёкой от всяких умственных усилий: потому что рефлексивный «подслой» сказывается и в фигне и очень повышает её качество.)

Собирание мира: О смыслах (не только) странствий

Это — собирание мира; наделение его, прежде безразличных к тебе, участков — личным смыслом. Передвигающийся по свету человек работает магнитом, собирающим вокруг себя те разрозненные элементы мира, которые способны к нему притягиваться. Нанизывает их на стержень некоторого единого, хотя бы и неявного сюжета, приноравливает эти элементы друг к другу внутри неявного же, становящегося целого. В общем, это опыт «неявного единства» и нащупывание «магистрального сюжета» — хотя бы собственных взаимоотношений с миром. Аутопойетическое, конечно, занятие — но всё-таки мнится мне, что, изготавливая при этом себя, мы

одновременно изготавливаем и нечто большее, чем мы сами, и способное пригодиться помимо нас. Меня, то есть, не отпускает чувство, что всякий субъективный, единственный смысл, изготовленный нами для личного пользования, непременно способен пригодиться хоть кому-то ещё. В этом, кстати, смысл литературы — широко понятой, с включением в неё даже и всяких подённых записей.

* * *

Вообще, качество всякого элемента жизни, всякой её ситуации (качество, то есть, того, как всё это проживается и чувствуется — по крайней мере, мной) определяется, кажется, чувством того, какое место он(а) может занимать в некотором Большом Целом (опять-таки неважно, как именно оно определяется и даже насколько в нём отдаётся себе отчёт: главное, чтобы оно чувствовалось). И это имеет прямое отношение к его/её смыслу: смыслообразование и есть образование таких связей, вращивание новослучившегося предмета в систему уже имеющихся связей и выращивание ради него новых.

* * *

Вот, наконец мне ясно, что такое «биография»: собирание разных элементов в единственную цельность, способную иметь значение и за пределами самой себя.

К изготовлению реальности

Совсем на грани засыпания подумалось (скорее уж почувствовалось) что-то невнятное, но очень — на уровне переживания — убедительное о самоценности сложного словесного описания так называемой реальности. Что-то вроде того, что сама реальность — вещь, как известно, конструируемая — становится богаче и жизнеспособнее от вращивания в неё сложноустроенного словесного слоя, это добавляет ей мускулов, протканых густой сетью кровеносных сосудов, насыщенных кислородом и движением. Не говоря уж о нас самих, которых внутренне шлифует сложность, оттачивая нам наши внутренние мелкие детали.

О возрастах и бессмертии

Иногда кажется, что молодость (равно и старость, и зрелость, и детство) — это некая самостоятельная сила в нас,

вполне цельная, лишь с известной долей условности разложимая на элементы — которая в нас действует, формируя (даже — вынуждая к существованию) наши побуждения, влечения, тревоги, выборы; она возникает, набирает мощь, властвует — и потом так же в свой срок идёт на спад, а в это время внутри её, взаимодействуя с этими самыми её трудно-расцепимыми элементами, перегруппируя их по-своему, зарождается новая, следующая сила, которая в свою очередь будет властвовать нами как внутренняя данность и с которой как с таковой придётся считаться. Это она, она поднимает «валяющиеся на дороге» смыслы и задаёт им направление движения и характер соединений друг с другом.

Думается, это связано даже не с социальным возрастом (который — история отдельная и весьма сложная, я бы сказала даже, «мозаичная»), а с самым «простым» (в той мере, в какой в человеке вообще что-то способно быть простым) — с биологическим. Весь этот гормональный фон очень явно влияет на динамику смыслов, не то чтобы лишая её самостоятельности, но очень во многом задавая ей направление — и задачки той, явно неизменной, «точки самонаблюдения» или «самосознания», у которой отчётливо нет (наблюдено ещё в раннем детстве!) ни пола, ни возраста, ни социальных и прочих принадлежностей и координат, всё это внешне по отношению к ней и она отделяет себя от этого легко — и которая стоит над всей этой динамикой в качестве неподвижной звезды и собирает её в цельность.

Кстати, как ни смешно, это — одна из причин, по которой я не могу представить себе бессмертие души: не получается вообразить, что будет задавать нам *там* динамику смыслов, и будет ли там вообще динамика смыслов (задаваемая всегда, как мнится, некоторой неполнотой, неокончателностью, несовершенством, если угодно — как естественным состоянием «земной» личности), и в какой мере вообще возможна личность (а с нею — и самоидентичность) без соматического (и включённого в него биографического; биографическое — это почти чистая соматика!), много чего определяющего компонента. (Штука в том, что все эти — биографически и соматически приобретаемые — «интонации и углы душевного наклона к плоскости жизни» мнятся отнюдь не преходящими,

поверхностными чертами личности, но её несущими, формообразующими конструкциями).

Единственное бессмертие, которое я могу себе представить — это бессмертие (некоторую устойчивость и воспроизводимость) этой самой «точки самосознания» (легко могу вообразить, как она, «смотрящая» сию минуту из меня, так же точно будет смотреть из кого бы то ни было другого (в сущности, не то же ли — не сопоставимое ли нечто — происходит при чтении художественной литературы, когда мы как бы «выселяемся» из своего тела и смотрим «наружу» из чужих душевных оболочек и обстоятельств?) Так в детстве меня мучило — а теперь не мучает лишь потому, что научается же человек с возрастом защищаться и смягчать острое, чтобы не ранило! — почему я — это только я, почему я не могу, даже если очень-очень захочу, смотреть так же, как из себя — из кого бы то ни было другого? Подозреваю, то был как раз «дискурс» той самой «точки самосознания». Как ни смешно, и *это* помнится в жёсткой, неразъемлемой сцепке с биографическими обстоятельствами: чётко помню место в нашем дворе, где я впервые застала себя за таким чувством — эта мысль во мне очень связана с «пластикой» этого пространства — да и с «органолептическими» свойствами того времени и, появляясь, воспроизводит их формы: то был ранний, тонкий, ясный апрель, думается, 1969-го или 1970-го года (скорее 1970-го), — схватило оно меня напротив нашего корпуса, около решётки детского сада, недалеко от угла, и несёт в себе с тех пор холодный, острый, ветреный воздух апрельского вечера; как ни смешно, я помню даже синее пальто «с кошкой», которое на мне тогда было.

Так вот, я решительно не могу себе представить, где в этой точке — явно бесструктурной, без внутренних пространств, без места для накопления опыта, совершенно цельной и «точечной» — будет место хоть какой-то самоидентичности, памяти о пережитых структурах жизни: хоть об имени, хоть о чувствах, хоть о языках, на которых для меня звучали смыслы, хоть о синем пальто с кошкой, хоть об эмоциональных изгибах, вмятинах, вдавликах, вытянутостях, возникших в связи с определёнными людьми, — по которым можно будет опознать меня как именно меня, а не как безы-

мянную и бескоординатную точку? Мне легко (и с годами, кажется, всё легче и легче) представить себе и то, что эта точка исчезнет однажды совершенно бесследно, как исчезает же она во сне без сновидений или под наркозом.

Ситуативно-антропологическое: О не(до)воплотившемся

Люди делятся, помимо всего прочего, — по преимущественному распределению внимания — на более внимательных к тому, что осуществилось, и более внимательных к несостоявшемуся. К недовоплотившимся аспектам бытия. Так сказать. Эти последние — как раз та порода людей, которые принципиально не умеют жить «здесь и сейчас» и вечно внутри себя вертятся в разные стороны, не включаясь в непосредственно данное и не вполне замечая его. Меня и в себе это свойство очень мучило в молодости; потом, понявши, что от природного душевного устройства в общем никуда не денешься, смирилась, а вот теперь додумалась, что, пожалуй, этот душевный тип имеет такую же оправданность (и свои культурные функции), как и тип живущих здесь-и-сейчас. Ведь недовоплотившееся (и ушедшее, и возможное — предполагаемое) нуждаются во внимании ничуть не меньше состоявшегося. А может быть, ещё и в большем, ведь оно же не состоялось! Оно образует область подтекстов и резервных возможностей бытия — и нуждается поэтому в своих «выявителях» и «культиваторах».